

КИЕВ КАК МОМЕНТ ДУХОВНОЙ БИОГРАФИИ ПУШКИНА

Киев возникает в пушкинском поэтическом космосе в тот период творчества поэта, когда активно формировались его романтические идейно-эстетические концепции. Как известно, едва ли не центральной проблемой для юного Пушкина была проблема личности и общества, героя и толпы, обостренно переживаемая в годину конфликта со средой, его породившей и сформировавшей. Он вел себя дерзко и вызывающе, и в ряду шокирующих общество поступков фигурируют далеко не невинные для обывателя вещи – от бреттерства до участия в масонской ложе и попыток войти в круг декабристов. В эту пору поэт находился в силовом поле байронизма, байронического бунтарства. Очень важно, что именно в этом контексте образ Киева, овеянный аурой истории, выступает у молодого Пушкина идеализированным символом благородной древности и свободы – понятия, выступающие с этих пор в аксиологии поэта неким непреходящим основанием. В произведениях Пушкина этого периода слова «Киев» и «киевляне» попадают, что называется, на каждом шагу.

Однако до сих пор Киев упоминался в трудах пушкиноведов по преимуществу лишь как эпизод биографии поэта. В единственной, по сути, развернутой статье, посвященной теме Киева у Пушкина [3], превалирует сугубо краеведческий подход. Подробно анализируется, какие знаменитые киевские места посетил поэт, какие исторические имена вошли здесь в его сознание с особой яркостью, в каких именно произведениях фигурируют Мазепа, Искра и Кочубей, а в каких – трансформированный образ Нестора летописца и пр. Все это, безусловно, нужно и важно (хотя и достаточно вторично); однако возникает закономерный вопрос: об *отражении* ли «киевского материала» следует говорить в первую очередь? Нам представляется, что, при всей значительности Киева как знакового топонима истории и культуры, речь должна идти все же в первую очередь об *интерпретации* киевской темы гениальным поэтом-романтиком.

Следует, как нам кажется, обратить первостепенное внимание на характер отбора поэтом «киевского» материала, на ту свободу, с какой он этим материалом оперировал, иными словами – *не на объект изображения, а на само изображение*. Именно такой подход позволяет судить о роли киевских впечатлений о месте Киева в духовной биографии Пушкина с надлежащей полнотой, избавиться от реликтов наивного представления в духе заветов Чернышевского – будто самое важное – реальность, которую отражает художник.

Прежде всего, Пушкин воспринимал Киев сквозь призму определенной традиции, складывающейся, отчасти, и на его глазах. Интерес к киевским древностям был заново возбужден в русском обществе той поры Н.

Карамзиным, попытавшимся заново и резонансно решить поставленный еще Нестором-летописцем вопрос о месте и роли славянства (в первую очередь, восточного) в мировой истории. Ведь для Нестора важно было «вписать» славянство в библейский алгоритм Священной Истории, и в его повествовании, в конечном итоге, доминировала идея «временных лет», бренности всего сущего. Карамзин же, повернул внимание общества к светской, политической плоскости исторической прозы, подчиняя ход русской истории монархической идее (впрочем, уже отталкиваясь от «плакатной» модернизации истории в духе «Владимира» Ф. Прокоповича). Вопрос о Киевском наследии в начале XIX ст. приобретает особую напряженность в контексте полемики декабристов с монархической концепцией Карамзина: здесь характерно перенесение акцента с личностей киевских князей на новгородские вольности. В либеральной атмосфере, поощренной было Александром I, закипали потоки революционаризма, и юный Пушкин, преданный культу свободы, живо ощущал их скрытый жар. Более того, именно с Киевом в сознании русского романтика эпохи часто сопрягался не только поиск национальных корней, народности, но и представление о первоначальной, будто бы не стесненной нормами позднейшей цивилизованности, личностной свободе. Собственно, «вольность» присуща в тогдашней русской исторической прозе и деяниям князей – ведь именно цари, в представлении поэтов данной эпохи, обладают свободой воли (Гегель). Может, именно здесь коренится будущее движение Пушкина к идеалам державности и монархизма? Увы, державинское «Цари, я мнил – вы боги властны...», навеянное опытом царедворчества и чтением Библии, осталось вне поля зрения наследников Державина. Иными словами, для Пушкина киевская тема интегрировала множество культурно-исторических и политических проблем, связанных с характером русской государственности, национальным характером, статусом личности.

Подступ к «киевской теме» состоялся еще до приезда в этот город – в поэме «Руслан и Людмила»: образ «златоверхого града», осажденного врагами, конденсирует тот подъем «русского духа», о котором Пушкин нашел нужным сказать особо в новом издании поэмы. Иными словами, именно в киевской старине Пушкин ощущал духовные корни русского человека. С другой стороны, было бы слишком общим местом привязать «киевский» мотив «Руслана» исключительно к поиску «народно-национального начала» (тем более, что имя героя все же восходит к тюркскому богатырю Еруслану Лазаревичу).

Вместе с тем, молодой поэт еще явно не готов всецело отдаться этой стихии, органичной для Кольцова или Шевченко. Еще не исчерпан до конца байронический индивидуализм, включавший в себя, как органические составные, обязательный эпатаж и демонстративное неуважение к религиозным и политическим авторитетам. Лишь позже, в Михайловской ссылке он ощутит ее притяжение. Этот индивидуализм укрепляется благодаря тому, что себя Пушкин ощущает таким же изгнанником, как Байрон или Овидий. «Образ

поэта-беглеца после «Путешествия Чайльд-Гарольда» Байрона сделался одной из ведущих тем европейского романтизма <...> Образ беглеца связывался с темой разочарования» [2, с. 65].

Поэтому пребывание в Киеве явно не было банальной «туристической» ситуацией. Но доказать на основе каких-либо документов, увы, нельзя: верно, что «Александр Сергеевич Пушкин впервые увидел Киев в 1820 году, 14 мая, и провел в нем сутки. Ближе Пушкин познакомится с Киевом в следующий приезд – в конце января 1821 года, на протяжении двух недель <...> О пребывании Пушкина в Киеве не сохранилось документов и писем, ведь ссыльный поэт приезжал сюда инкогнито; этот приезд почти не освещен и в мемуарной литературе. Кое-что устанавливается по произведениям поэта, их датировке, подготовительным материалам» [3]. Как известно, передвижения Пушкина по Украине концентрируются преимущественно вокруг Киева. Он бывал вблизи Киева в Каменке, в Тульчине и Василькове – центрах декабристского движения Юга.

Пушкин, по сути, окунается в беспокойное поле «киевского политического мифа», сложение которого началось еще во времена Нестора-летописца и, если угодно, продолжается и сегодня. Ведь Киев в ментальности восточных славян есть некий «архетип» города, начало собственной цивилизации, и за права на киевское наследие в постсоветском пространстве, как известно, ведутся подчас достаточно ожесточенные споры. Более того, с Киевом для жителя имперской столицы, как уже говорилось, ассоциировалось представление о некой «исконной вольности» личности. И если рассмотреть нашу тему в этом формате, то уже хорошо известные вещи таят, похоже, немало интересного, непроясненного.

Скажем, в будущем Киев Пушкиным, русским человеком, неизменно будет мыслиться как «наш Киев» («Клеветникам России»); о Киеве как «пращуре русских городов» будет сказано и в «Бородинской годовщине». В то же время в момент приезда в Киев свобода и независимость пушкинского суждения оказывается на грани скандала. Так, предводитель «изменников, злодеев-украинцев» Мазепа, о судьбе которого Пушкин впервые задумался над могилами Искры и Кочубея в Печерской лавре, рисуется настоящим романтическим героем, призванным пробудить в читателе исключительно восхищение и сопереживание («Полтава»). В предисловии к «Полтаве» поэт пишет: «Мазепа есть одно из самых замечательных лиц той эпохи»; далее, перечисляя известные злодеяния этого «замечательного лица», проклятого церковью (клеветник своего благодетеля Самойловича, губитель отца своей любовницы, изменивший Петру перед Полтавской победой), Пушкин говорит: «лучше было бы развить и объяснить настоящий характер мятежного гетмана, не искажая своевольно исторического лица» [4, с. 335]. Иными словами, ни на минуту не переставая быть русским патриотом, поэт достаточно спокойно воспринимал и перипетии национальных движений, и, что особенно любопытно, личности их вождей – тенденциозность «официальной» оценки для

Пушкина как бы не существует вовсе. В такой позиции прочитывается, впрочем, не столько желание насолить официальным идеологам, сколько редкая независимость суждения, благородство и великодушие по отношению к тому, кого следовало бы считать изменником и врагом. Со всей очевидностью, речь должна идти не о том, насколько «патриотичен» был Пушкин в своей трактовке киевской темы и «соглашался» ли он на «украинский статус» киевской земли. Куда более важными представляются вопросы о том, что в художественном мире поэта Мазепа – воплощение вольнолюбивого идеала, «байроновский» по своей сути характер – поэтизируется человек, подобно байроновскому Каину, бунтующий против священной власти и присяги, превыше всего ставящий собственную вольность.

В Киеве задумано было еще одно шокирующее разрушение традиционного культурного стереотипа. Увиденная в Софийском соборе икона «Благовещения» послужит неожиданной отправной точкой для замысла богоборческой и кощунственной «Гавриилиады» (план поэмы набросан Пушкиным 6 апреля 1821 года). Ситуация, при всей ее, казалось бы, откровенной кощунственности, между тем вовсе не так уж и проста. В кандидатской диссертации покойной М. Тилло о Бродском был, хотя и несколько «походя», но весьма интересно исследован вопрос об истоках «Гавриилиады»: здесь в одном ряду фигурирует и неповторимое постановление Священного Синода «О невождевании ко святым иконам»¹, и тайная юношеская любовь Пушкина к жене Карамзина – оставшейся на всю жизнь в его сознании недоступным идеалом, и сквозной для его творчества образ Мадонны, которой всецело отдано поклонение «рыцаря бедного». Все это, видимо, слилось в совершенно «панковский» по духу взрыв – попрание священных табу религии и сознательное, пафосное осквернение сакрального образа Девы. Во всем этом, как справедливо замечено М. Тилло, чувствуется некий титанизм, и это явственно перекликается с шокирующей трактовкой Мазепы как некоего титана, стоящего выше добра и зла (к тому же, в дополнение к своим политическим инициативам, поправшего девственную чистоту дочери преданного и уничтоженного им Кочубея).

Отголосок этого, пробужденного прикосновением к киевской старине, титанизма чувствуется в замысле «Вадима» и в наброске «Мстислава»: на материале киевской и новгородской истории должно было возникнуть нечто грандиозное, пожалуй, соразмерное гомеровскому эпосу. Достаточно вчитаться в набросок «Мстислава»: «Мстислав на острове наслаждений» <...> «Царевна косоногов влюбляется в Мстислава – Ее мать волшебница: старается заманить Мстислава, Мстислав упорствует ее прелестям <...> «Мстислав увлечен чародейством в горы Кавказские»; между тем «На Россию нападают с разных сторон все враги ее», и пр. Романтики России с огромным интересом ожидали

¹ Судя по этому постановлению (конец XVIII в.), новые европейские живописные приемы, вошедшие в употребление в православную иконопись со времен Петра Могилы, многих вводили в соблазн, и, томясь во время долгих богослужений, иные молящиеся испытывали к священным изображениям вовсе не духовные чувства.

реализации этих проектов. Так, П.А. Вяземский писал: «С жадною поспешностью и признательностью вписываем в книгу литературных упований обещание поэта рассказать *Мстислава древний поединок*. Слишком долго поэзия русская чуждалась природных своих источников и почерпала в посторонних родниках жизнь заемную, в коей оказывалось одно искусство, но не отзывалось чувству биение чего-то родного и близкого» [1, с. 128].

Однако замысел воспеть «богатырские» характеры и деяния не реализовался. Плодами титанических порывов оказываются душевная пустота и исчерпанность. Пушкин в эту пору советует другу вести себя стоически, но признается: «Правила, которые я тебе предлагаю, приобретены мною ценой горького опыта. Хорошо, если бы ты мог их усвоить, не будучи к тому вынужден. Они могут избавить тебя от дней тоски и бешенства. Когда-нибудь ты услышишь мою исповедь; она дорого будет стоить моему самолюбию, но меня это не остановит, если дело идет о счастье твоей жизни» (4, т. XIII, с. 49).

Законченный в 1821 г. в Каменке «Кавказский пленник», предвестник «Онегина», суммирует опыт «байронического индивидуализма» (*старость молодости*, как выражается Пушкин о самом себе в письмах этой поры).

Пребывание в Молдавии и Одессе сменилось отправкой в родные пенаты, причем, по некоей иронии истории, в Киев, неожиданно пробудивший дремавшее в юном поэте чувство титанического царя– и богоборчества, второй раз заехать не удалось: Пушкину был назначен маршрут без заезда в Киев. 30 июля 1824 года Пушкин выезжает из Одессы и 9 августа появляется в Михайловском-Зуеве. Сначала он окунется в народную стихию; затем будет приближен ко двору. Последнее, как известно, закончится трагически: «Близ царя – что близ смерти»...

Литература

1. Вяземский П.А. О «Кавказском пленнике», повести соч. А. Пушкина / П.А. Вяземский // Пушкин в прижизненной критике, 1820-1827 / Пушкинская комиссия Российской академии наук; Государственный пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге. – СПб: Государственный пушкинский театральный центр, 1996. – С. 124-128.
2. Лотман Ю.М. Пушкин / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство, 1999. – 847 с.
3. Плотникова И. «Преданья старины глубокой». О пребывании Пушкина в Киеве / И. Плотникова // «Зеркало Недели». Режим доступа к статье: <http://www.zerkalo-nedeli.com>
4. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 11 т. / А.С. Пушкин – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1948. – Т.5. – 543 с.

Анотація

Д.С. Бурого. Київ як момент духовної біографії Пушкіна.

У статті встановлюється місце та роль Києва у творчому світі молодого Пушкіна. Доводиться, що Пушкін сприймав Київ крізь призму традиції, яка

склалася майже на його очах. Зацікавленість київською давниною була поновлена у російському суспільстві тієї пори М. Карамзіним. Пушкін часів формування його романтично-ідеалістичних концепцій сприймав Київ як символ давнини та свободи.

Ключові слова: міф Києва, байронізм, культурний стереотип.

Аннотация

Д.С. Бурого. Киев как момент духовной биографии Пушкина.

В статье устанавливается место и роль Киева в творческом мире молодого Пушкина. Доказывается, что Пушкин воспринимал Киев сквозь призму определенной традиции, которая складывалась отчасти на его глазах. Заинтересованность киевской стариной была возобновлена в русском обществе той поры Н. Карамзиным. Пушкин времени формирования его романтически-идеалистических концепций воспринимал Киев как символ древности и свободы.

Ключевые слова: миф Киева, байронизм, культурный стереотип.

Summary

D.S. Burago. Kiev as a moment of Pushkin's spiritual biography.

The article establishes Kiev's place and role in the young Pushkin's creative world. It is proven that Pushkin examined Kiev through a certain tradition, which was partially formed on his eyes. The interest in Kiev's antiquity was reestablished in the Russian society of that time by N. Karamzin. Pushkin thought of Kiev as of a symbol of antiquity and freedom.

Keywords: Kiev's myth, Byronism, cultural stereotype.